

“Я так пыталась любить другого, но тщетно...”

В издательстве “Вагриус” вышла переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака

В издательстве “Вагриус” вышла книга “Души начинают видеть.” (Письма М.Цветаевой и Б.Пастернака). Название книги дала строчка из стихотворно-го цикла М.Цветаевой, посвященного Б.Пастернаку. Их знакомство произошло в послереволюционной Москве, но то были лишь случайные, беглые встречи. Настоящее открытие поэтами друг друга состоялось в 1922 году, когда Цветаева уже была в эмиграции и их общение стало эпистолярным. К 1926 году оно достигло своего пика, а затем постепенно, к середине 30-х, сошло на нет. Однако для Цветаевой Пастернак навсегда остался единственным равным по силе таланта, а она для него — самым большим потрясением в жизни. Подтверждение этому — их переписка, впервые публикуемая в таком большом объеме: письма Цветаевой к Пастернаку, о пропавших которых он рассказывал в биографическом очерке “Люди и положения”, теперь восстановлены по ее черновым тетрадям, а большая часть его писем к ней до сих пор хранилась в закрытом цветавском архиве.

Пастернак — Цветаевой
6 марта 1923 г.
Дорогая Марина Ивановна!

Мы уезжаем 18 марта. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях. Этого последнего я бы желал всей душой. Я не боюсь того, что мне станет после этого трудней уезжать отсюда, потому что Веймар останется впереди и будет целью и поддержкой. Я не боюсь также, что лишусь Вашей дружбы по моему свиданию с Вами, что бы плачевного я Вам ни рассказал и Вы бы ни увидели, потому что то и другое явится естественным продолжением Ваших догадок не обо мне, как, за всеми поправками Вам все-таки угодно думать, — о далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы вероятно не в пример больше моего и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движением.

Темы “первый поэт за жизнь”, “Пастернак” и пр. я навсегда хотел бы устранили из нашей переписки. Извините за неучтивость. Юрность Ваша иного назначения. Многие, несмотря на душевно-родственные мне ноты, препровождено у Вас не по принадлежности. Будьте же милосерднее впереди. Ведь читать это — больно.

За одно благодарю страшно. За позволение думать, что обращаюсь к Вам, Вам же и отвечаю. Это — подарок. С этой надеждой я не расстаюсь. Но Вы забыли может быть? Это у Вас в первом письме. “Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль — всегда в ответ”. А вот другое внутреннее, это из второго. “Сумейте наконец быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим, чтобы сквозь Вас, как сквозь Бога, — пророй!” Этого наказа я не принимаю, я его парировал. Мне в нем не нравятся два слова. “Сумейте” и “наконец”. О Вам я меньше всего хотел бы что-нибудь уметь, слышать мне Вас без умения надо, без установки на Вас, дело опять не в этом. Дорогая Марина Ивановна, будьте действительно, оба, вернее и надолго тем, чем мы за эти две недели стали, друг друг этого не называя. Заключенные позволю отнять у Вас право сердиться на меня за это письмо. Ему надлежало выразить две вещи. Одно, простейшее, непомерной глубины — Вам в лицо. Другое, тоже простое, но запутанности чрезвычайной, — всем волею, о судьбе, о житейском, о всякой всячине. Эту нелепую долю оно с себя с самого же начала сложило. Напишите тотчас, приедете ли Вы, т-ка-к! <как> я пишу в расчете на живую и близкий разговор с Вами.

Ваш Б.П.

Цветаева — Пастернаку
9 марта 1923 г.
«В углу листа»

Посвященные Февраля. Крыло Вашего отлета.

Пишу Вам в легкой веселой лихорадке (предсмертной, я не боюсь больших слов, п. ч. у меня больше чувства). Пастернак, я не приеду. (У меня болел муж, и на визу нужно 2 недели. Если бы он был здоров, он бы м.б. сумел что-нибудь устроить, а так я без рук.) На визу нужно две недели (разрешение из Берлина, свидетельство о тяжелой болезни родственника, здешняя волокита). У меня здесь (как везде) ни друзей, ни связей. Я уже неделю назад узнала от Л.М.Эренбург о Вашем отъезде: собирается... Но сборы — это месал! Кроме того, я не имела Вашего письменного разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки и ждала. Теперь знаю, но поздно. Пишу Вам вне расчета и вне лживости и вне трусости. (Объясню!) — С получения Ваших “Тем и Варьяций”, нет, — раньше, с известия о Вашем приезде, я сразу сказала: Я его увижу. С Вашей лиловой книжечки я это превратила в явь, т. е. приехала за письмом к книге прозы (переписку!) рассчитав ее окончание на 5 апреля. Работала все дни, не разгибая спины. — Борю сдвинуть! — Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед жизненной собой). У меня (окужающих) очень трудная жизнь, с моим отъездом — весь чертов быт на них. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и делала. Теперь поздно: книга будет, а Вас нет. Вы мне нужны, а книга нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (ближне будет помнить, если не приеду, НЕ больше, — ложь! Этот романтизм я переросла, как и Вы.) не из расчета (слишком буду помнить, если увижу!) Больше, чем я сейчас — нелзя! и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовище, — Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли ботемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа отъезда) буду провожать Вас, — пока души хватит.

Не приеду, п. ч. поздно, п. ч. я беспомощна; п. ч. Сложим например достанет разрешение в час, п. ч. это моя судьба — потеря.

А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду ЖИТЬ этим все два года напролет. И если за эти годы умру, это (Вы!) будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю, 16-ти лет 2 года подлбда, день <в> день, час в час, любуясь Герцога Рейхштатского (Наполеона II), любила сквозь вой и воех, слеза жила. Пастернак, я себя знаю. Вы — мой дом, к Вам я буду думать домой, каждую секунду, я знаю. Сейчас Вас на <оборван>

(У меня много записано в тетрадке о Вас эти дни. Когда-нибудь пришло.)

Сейчас у меня мысли путаются: как перед смертью: ВСЕ нужно сказать.

Предстоит огромная Бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами будет Вы. Теперь мгновенная самооборона: как с этим жить? Ведь бесконечные вечера, костры, рассветы, я себя знаю, я заранее в ужасе. Тогда, летом я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, все это осталось на каменном откосе берлинского балкона и в зап-ных к-нжиках. Но сейчас я никуда не уеду, никуда не уйду. Это (Вы!) уже поселилось в моей жизни (не только во мне!), приобрело оседлость.

Теперь, резко: что именно? В чем дело! Я честна и ясна: СЛОВА — клянусь! — для этого не знаю. (Перепробую все!) Насколько не знаю, увижу-ли из февральских стихов. Самое точное: непрерывная и все устремление души, всего существа. К одному знаменателю. Ясно? Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, выходом, Вам ясно? Законным. Ведь любящего соблазна и страшной беготней беготни нет: расстание! / пространство.

А теперь просто: я живой человек и мне ОЧЕНЬ больно. (Де-то на высотах себя — нет, в глубине, в сердце — боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

Февраль 1923 г. в моей жизни — Ваш. Делайте с ним, что хотите.

Пастернак-ж, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг — по-безумному! — начинаю верить!) Буду присылать Вам стихи. О Вас, поэте, буду говорить другим: деревьям и, если будет, друзьям. Ни от одного слова не откажусь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда остается одно: о себе к Вам (в упор) то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела.

Слово о Вашей — мысли настренно моей вечной остается в силе. Другое, которое Вам было неприятно, должно истолковать: Сумейте, означало не <вычит-сь>, “Сделайте чудо, наконец!” — увы относилось ко мне, а не к Вам. Т. е. после стольких нечудес, вот оно, наконец, чудо! (Которого хочут!) ...Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор. <...>

Цветаева — Пастернаку
«январь 1924 г.»

Пастернак, полгода прошло, — нет, уже 8 месяцев! — я не сдвинулась с места, так пройду и еще полгода, и еще год — если еще помните! Срывалась и отрывалась — только для того, очевидно, чтобы больнее и явнее знать, что вне Вас мне ничего не найти и ничего не потерять. Вы, моя безнадёжность, являетесь одновременно и всем моим будущим, т. е. надеждой. Наша встреча, как гора, сползает в море, я сначала приняла ее (в себе) за лавину. Нет, это надолго, на годы, увихусь или не увихусь. У меня глубокий покой. В этой встрече весь смысл моей жизни, думаю иногда — и Вашей. Просто: читаю Ваши книги и содержанию от соответствия. Поэтому ни одна строка, написанная с тех пор Вас не миновала, я пишу и дышу в Вас (как цель, место куда пишется). Я знаю, что когда мы встретимся, мы уже не расстанемся. Я vorfuhrende (предчувствующая *(нем.)*). — (Ред.) Как это будет в этих мирах, не знаю, — как-нибудь — это случится той силой горы.

Это не одержимость и не навязчивость, я не зачарована, а если зачарована — то навеки, так что и на том свете не проснусь, не очнусь. Если сон снится всю жизнь — какое нам дело, что это сон, ведь примета сна — предходимость.

Я хочу говорить Вам просто и споконно, — ведь 8 месяцев, под-смай-те, день за днем! Всякая лихорадка отпустила. Когда мне плохо, я думаю: Б.П., когда мне хорошо, я думаю Б.П., когда музыка — Б.П., когда лист слетает на дорогу — Б.П., Вы мой спутник, моя цель и мой оплот, я не выхожу из Вас. Всё, и боевое, и <пропуск одного слова>, с удесятенной силой отшвыривает меня к Вам на грудь, в грудь, я не могу выйти из Вас, даже когда <оборвано>.

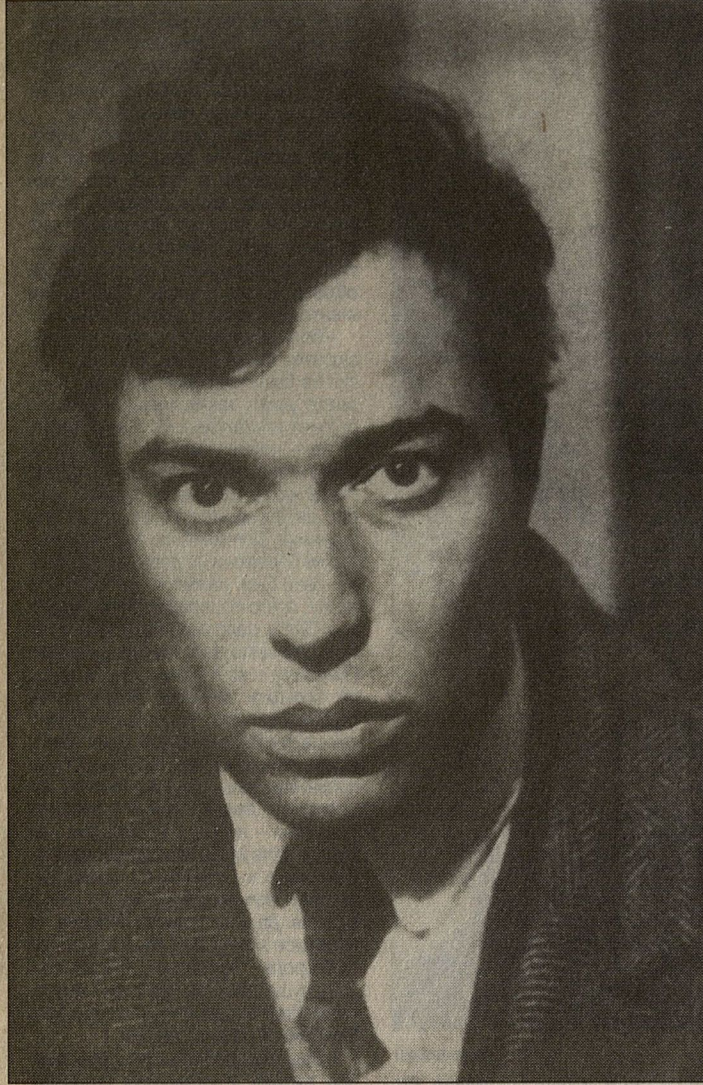
О внешней жизни. Я так пыталась любить другого, всей волей люб-сви, но тщетно, из другого я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас (как на поезд заглядываются, должностующий появляется из тумана). Я невиновна в том, что я <оборвано>, я все делала, чтобы это прошло.

Так было, так есть, так будет. Я не жду Ваших писем, отпуская Вас тогда, я отпускала Вас на два года, на все эти дни этих двух годов, на все часы. Мне эти годы, часы, дни нужно проспать. Сон — работа, сон — <пропуск одного слова>, любовь к <д-ку>. Тревожиться и ждать Вас я начну, хотела сказать 31-го апреля — нет, 30 марта 1925 г. Это — ставка моей жизни, так я это вижу.

Смешно мне, не отвечающей ни за час, загадывать на годы, но вот — пологиде уже есть. Так пройдут и ост-альны-е три.

<Другими чернилами; вероятно, предвратительный конспект этого письма>.

Не хочу сказать <больше>, чем есть, но: некое чувство обреченности друг на друга, просто: иначе не может быть. Вокруг меня огромные любовные вихри. Вы моя единственная неподвижность (во мне, все то — во мне, это во мне). О внешней жизни не рассказываю, т. е. о жизни моей в днях, — много всего! все настоящее, но из каждых рук рвуся в Вас, оглядываюсь на Вас. Встреча с Вами — весь смысл моей жизни здесь на зем-



Слева М.Цветаева. Прага. 1924 г. Справа: Б.Пастернак. 1934 г.

ле (есть и ин-ые см-сылы). Зн-сай-те, что то, что удерживает, заграждает мне Вас, так же велико, громад-но, безнадежно, как <Ваше. Мы во всем равны здесь <оборвано>.

Пастернак — Цветаевой
«пер. пол. 1924 г.»

Дорогая Марина! Так странно Вам писать! Мне кажется, Вы знаете и видите все, мы никогда не начинали, мы никогда не перестаем. Живите долго, живите вечно, я только на это надеюсь теперь. Как объяснить Вам? Я мог бы простыми и строгими словами рассказать, что теперь со мною и как сложилась жизнь, как трудно тут. Всего бы лучше так и сделать (из-за Вас же!) не хотела. Я писал бы Вам о своем житейском, и чем подробнее и точнее на нем останавливался, тем чуднее и жутче было бы Вам, что я с таким усердием себя помню. А между тем, подробно и точно писал бы я о Вас, о Вас давнишней, о Вас отдаленной, и далекой в будущем. Что Вы такое, Марина?

В я ряду тех величайших вещей, которых можно не замечать, без угрозы обидеть их и их лишиться. Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная, с тем что бы когдан-нибудь, и как-то (и кто скажет, как?) отравиться только и дышать им, как отправляются в горы или на море или зимой в деревню. Только раз пять или шесть, не больше, слышал я в жизни другую такую незаметность, водопад существа, прохот невымысленного мира, частей, как несущаяся конница, град отнесного, во весь рост, чутя, пред-полагая, испуга, восторга, поклонения и утаивания, — такие звуки знакомы окнам весенней ночью. О том, как услышал я это в предпоследний раз, писал я в бытность мою поэтом.

В следующий, в последний раз, я это услышал из Верст, и потом от Вас, изо всего, что от Вас шло, и за что я никогда не благодарил вовремя, как за отдаленное, всю ночь держащее тебя у окна, молодое, горделивое, не-молжно играющее молчаньем, торжественно тихое одиночество далекого, далекого водоппада. Зачем я пишу Вам глупости, они Вас за размытыва-емую красоту не вознаграят, и Вас не возвратят мне, если Ваше терпение истощилось, если мое поведение Вам в тягость и я Вас потерял. Я часто представлял себе, что было бы, будь Вы тут. Я боюсь говорить об этом, так ясно я все вижу, ничего не назвав. Но одним разочарованием было бы в жизни у Вас больше, потому что до какой бы бедности и опуст-ченности и ни дошел, войдя к Вас и оставшись при Вас, я бы их за собой не знал, за опущенностью прохотом полной подлинности, за счастьем, и наверное недоумевал бы и огорчался, когда Вы и другие гледили бы на меня трезвыми глазами. Потому что красить Вас и Вас догонять нечем и не к чему. И как легко бы я стал ничтожеством (для Вас неловким). Есть устойчивый, бестрепетно сторо-жевой порядок, порядок Верст и расстояний, без которых некуда было бы удаляться далям, неоткуда катиться их гулу. Они умнее нас. Их разорять нельзя. Я заметил, что думая о Вас, всегда закрываю глаза. Я тогда вижу свой дом, жену, ребенка, всё вместе, себя, лучше сказать, то место среди них, куда я должен отсюда то вернуться и возвращаюсь. И вот, с закрытыми глазами продолжаю я видеть их в какой-то их радости, в подъеме, точно приток неведомо откуда-то взывавших планов или надежд влился в них, или у них праздник, и они не знают, как его назвать, я же знаю (и может быть говорю им), и имя этому празднику — Вы. Ничем у меня из головы этого представления не вышибить. Я уже раз Вам о нем говорил. Я верю в это чутье, слишком часто оно является, и мое постоянное любованье Вами сопровождается. Я ему слепо доверяюсь, хотя ни понять, ни осмыслить его не в силах. Возможно, что это предчувствие какое-то, — безо всякой мистики, лишнее глубиничины и литературы. В том, как я люблю Вас, то, что жена моей любви к Вам не любит, есть знак неслучайный и себе подчиняющийся, — о если бы Вы это поняли! Что он может значить? А Бог его знает. У него может быть только два значе-ния. Либо нам не суждено свидеться

(ну скажем, меня вдруг завтра не станет, и тогда к чему было бы пона-прасну их огорчать или огорждать). Либо же суждено нам, и в это я верю, встретиться вне всякой неправды, как бы непонятно и несбыточно это ни казалось. Я ловлю себя на том, что говорю уже не с Вами, а о Вас с самим собой или с двойником моей Жени. Это ведь неуклюже и не касает Вас, и Вам скучно наверное, родной, родной мой воздух, насильно с воли втянутый в комнату к посто-ронним! Сегодня ровно год как я сдерживаюсь, таюся и для Вас не существую. Дать неправде ведь и эта нарочитая нищета. Мне хочется писать Вам. Я буду писать про всякую всячину, без иронии, я буду обо всем проговариваться Вам. Это будет (если пойдут) — ровные, почти неподвижные письма. Сразу же, как только я обращаюсь к Вам, Марина, меня под-даывает до самого предела преданности и этот уровень длится ровно, без спаданий, головокружительно.

Ваш Б.П.

«На полях»

Ищите случая, как Синезубовым, рассказывайте о себе, передавайте все что можно, стихи же посылайте полностью, все, все что напишете, одна Вы еще поэт под этим нашим небом.

Мой адрес: Волхонка 14 кв. 9. Прочтите.

Пастернак — Цветаевой
14 июня 1924 г.

Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначение, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина. Отчего не Вас еще эти имена в рассказом об оставшихся, дышащих тем же, что и они! Как они ненавидят бумагу! Стоит одному из них, точно по недомоту рассвета, слететь и лечь на страничку, как тотчас же просыпается страшная сволочь, — письмо. Оно ничего не видит и не знает, у него свое возбуждение, оно сыплет своими запятными. Только отвернувшись, глядишь, а уж оно и побило, любит, — а я не хочу, чтобы письма любили Вас. Не поверите, сколько я их написал и уничтожил! Их было больше десятка. Но это, последнее, я отошлю и в том случае, если засамозамочает и оно. Пока же это еще мой голос. — За что я ненавижу их? Ах, Марина, они невинимательны к главному. То, что утомляет, утомительной долготы любованья, полярizations чувств они не передают. А это самое паразитическое. Сквозь обиход пропущается ток, словно как сквозь воду. И все поларизуется. На улице, смеясь, разговариваешь со знакомыми. Вдруг содрогается, такою отталкивающей силой ни с того, ни с сего надвигаются их слова. И вдруг чувствуешь, что это действуют не они, что они поляризованы, что их перевели в этот полюс. Они — не она, вот в чем вся их сила. И кака! И когда сжимается сердце, — о эта сжатость сердца, Марина! Какой удивительный след нежного прикосновения в этом ощущении! И насколько наша <подчеркнуто трижды> она, эта сжатость, — ведь она насквозь стилистическая. Как мы ее понимаем! Это — электричество, как основной стиль волевого, стиль творения на минуту пронсится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну, гор-диться Богом, ассимилировать, уло-бить. И вот она, заряженная им с самого рождения, и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (та-ланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции, перебиваемая риторическим треском самостоя-тельных маховых движений (не-утомляющих мыслей, порывов, лю-бящих писем, вторичных поз), вот она заряжается вновь, насыщая, и опять мир превращается в поляризо-ванное баню, где на одном конце — питающий приток безразлично мно-гочисленных времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминая и полагания, — на другом — беско-нечно малая, как отпечаток пальца в сердце, когда оно покаявшись, щем-ляясь прелесть искры, ушедшей в воду, и fasciniрующей ее со дна. Ее вполне удивительно своей неуло-вимостью. Оно производит работу, перед которой сканье морских

бурь смешно и ничтожно. При взгляде же на ее поверхность ничего не увидеть, тихая, ровная гладь. Но она растворяет миры, как в детстве, она стаскивает их в себя, воспалает внима-нием, разлагает, проясняет. Она подчиняет сердечной сжатости все разнесенное и раздутое человечест-вом, смыкает слова, слои посредст-венные, искажающие. Она выплыва-ет только чистую природу, и проволоч-кивая по своему дну все восприим-ное, относит восстановленное веще-ство к точке своего поклонения. Вот этих неподвижных бурь письма не передают! О если бы по их страни-цам проволочкалась хотя бы тот пе-сок, который тащит по дну души это теньное. О как чудно было бы! Как много сказали бы Вам царянины и борозды, и линии осадка. Движение и содержание чувства должны Вас интересовать. Что дива в одном его факте?

Какие удивительные стихи Вы пишите! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще — Вы — возмутительно-большой поэт! Говоря о щемале малой, неуловимо элект-ризирующей прелесть, об искре, о любви — я говорил об этом. Я точно это знаю. Но в одном слове этого не выразишь, выражать при помощи многих — мерзость. Вот скверное сти-хотворенье 1915 года из “Барьеров”:

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажира, в зале
Отплывавших андант и адажи
С белым леплом баллад на челе,
С заскорузлой от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку
Проводящую день в руднике.

О письме, письме, доблывайся. Сейчас тебя отправит. Но вот еще несколько слов от себя. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно. — Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так волюю, так при-рожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! Я жалею, что я о бане Вам писал, это не Вам надо было рассказывать. И все равно не избобразить прелесть и утомительности труда, которым не-обходимо зарабатывать Вас. Не как женщину, — не оскорбляйтесь, — это завоевывается именно маховым движеньем, слепло и невинимательно, точь-в-точь так, как любят минуты, пылкостью и красочностью минуты.

«Одна строка зачеркнута.» Нет, иначе, и опять я чуть не начал рассказы-вать, как именно, и опять ни к чему. «Одна строка зачеркнута.» Вы ви-дите, как я часто зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О как меня на подлинник тянет. Как хочется жизни с Вами. И прежде всего той его <так> части, которая называется работой, ростом, вдохновением, познанием. По-ра, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, а стихи писать наверное разучился. Между прочим я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, тре-буя продолженья. Часть Ваших стих-хов будет напечатана в журн-але “Русский Современник”. Уда же одно лицо давало хорошую статью о Вас (Вы этого человека не знаете, маль-чик, воспитанник Брюсовского Ин-ститута, исключенный за со-слов-сов> происхождения, знающ-щий, философски образованный, один из “испорченных” мною). Они статьи не поняли и возвратили. Хочу писать и я статью. А Бобровскую в “Печати и Революции” получили? Вздорная, но сочувственная. А по-том будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встре-ти, но и то действующая с перерыва-ми, и часто по инерции, перебиваемая риторическим треском самосто-ятельных маховых движений (не-утомляющих мыслей, порывов, лю-бящих писем, вторичных поз), вот она заряжается вновь, насыщая, и опять мир превращается в поляризо-ванное баню, где на одном конце — питающий приток безразлично мно-гочисленных времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминая и полагания, — на другом — беско-нечно малая, как отпечаток пальца в сердце, когда оно покаявшись, щем-ляясь прелесть искры, ушедшей в во-ду, и fasciniрующей ее со дна. Ее вполне удивительно своей неуло-вимостью. Оно производит работу, перед которой сканье морских

рит. А может быть даже оно Ваши стихи рассказывает своими слова-ми? Какие они превосходные!

Постарайтесь с okazji прислать Психею, и все что издано у Вас после Ремесла. Очень нужно. Все прислан-ное замечательно. Совершенно вол-шебен “Занавес”. Спасибо.

Цветаева — Пастернаку
«июль 1924 г.»

Знаю о нашем равенстве. Но, для того, чтобы я его чувствовала, мне нужно Вас чувствовать — старше <вариант: больше> себя.

Наше равенство — равенство воз-мож-ностей, равенство завтра. Вы и я — до сих пор — гладкий лист. Учит-сваю! при сем всё, что дали, и именно поэт-ому.

Вы всегда со мной. Нет часа за эти 2 года, чтобы я внутренне не оклика-ла Вас. Вами я отыгрываюсь. Моя за-щита, мое подт-верждение, — ясно.

Через Вас в себе я начинаю пони-мать Бога в друг-ом. Вездесущ-ие и всемогущ-ество.

Пока мальчика нет, думаю о нем. Вспомните старика фете в Wahlverwandschaften. fete знал.

Борис, а будет час, когда я Вам поло-жу руки на плечи? (Большого не вижу.) Я помню Вас стоя и вы-соч-сим. — Я не в-сичку иного жеста <кроме> рук на плечи-х.

«Но если я умру, то кто же — мои стихи напишет?» (Опускаю ненужное Вам, ибо Вы сами — стихи —)

То, от чего так неум-елое, так по-детски, по-женски страдала А-хма-това (опущ-енное “Вам”), мною перешагнуто.

Мои стихи напишете — Вы.

5 ию-ля

Борис, Вы никогда не будете луч-шим поэтом своей эпохи, по-настоя-щему лучшим, как например Блок. У Блока была тема — Россия, Петер-бург, цыгане, Прекрасная дама и т. д. Остальное (т. е. его, Блока, в чистом виде) принимали бесплатным прило-жением.

Вы, Борис, две темы, весь — чистый вид, с какого края Вас любить, по какому поводу? Что за Вашими стихами встает? Нечто; Душа: Вы. Те-ма: Баба — Вы сам, которого Вы еще открываете, как Колумб — Америку, всегда неожиданно и не то, что ду-мал, предпологал. Что здесь любить читателю?

Вас.

Любить Вас читатель не сог-ла-сится. Будет придир-саться к рит-мику, etc., но за ритмику любить он не сможет. Вы, самый большой <по-эт> Вашего времени, останетесь в стороне того огромного тока любви, идущего от миллионов к единствен-ному.

Вы первый, дерзнувший без тем, осмелившийся на самого себя.

Борис, Вы, конечно, меня поймете и не подставите вместо себя Баль-монта. Бальмонт весь в теме: экз-отика, женщ-ины, краси-вые, крас-ота. Que sais-je! (Что я умею! (фр.). — Ред.). “Я” только повод к перечислению целого ряда предме-тов. (Бальмонт)

“Все предметы только повод к я” — вот Блок.

Повод — без я (имажинисты).

Я — без повода (Пастернак).

Жел-ать> — жел-ать> большего себя. Иначе не стоит.

Вне фабулы.

Фабула: дети, присп-уга, прост-?>. А дальше? Зрите-кли <оборвано>

События в долине, на горах нет со-бытий, на горах событие — небо (об-лака). Пастернак на горе.

Свою руку (уд-чиненность) Вы тащите с собой повсюду, разговари-вая с з-накомыми> на улице и от-швыривая ногой апельсинную корку в сквере — всё гора. Из-за этой горы Вас, Пастернак, не будут любить. Как Гильдерлина и еще некоторых.

Как глубоко, серьезно и неспешно разорачивается моя любовь, как стойко, как — непохоже. Встреча че-рез столы-то лет — как в эпос.

8-го ию-ля

Стран-но? соз-савать>: то, что должно было бы нас раздвинуть, еще больше скрепило.

Мне было больно от твоего сына (теперь могу это сказать, п.ч. тебе бу-дет больно от моего!). Теперь мы рав-ны. Со страхом жду твоего ответа, как отзовешься? <...>